

БАРАХВОСТОВ В ДУМЕ

Василий Белов. «Бухтины вологодские завиральные (перестроечные)». «Наш современник». 1996, № 1

Сергей Федякин

Сказ

ПО ВИДИМОСТИ, Белов продолжает свою войну с «демократами» (впрочем, его право). По существу — что-то сдвинулось в его прозе, что-то вздрогнуло, затрепетало: кровь пошла по жилам, открылось дыхание. В том, что новые беловские «бухтины» критики из «либералов» или постараются не заметить, или проворчат в их сторону что-нибудь пренебрежительное — сомневаться не приходится, обложил «деревенщина» всех: и «гайдаров», и «чубайсов», да и «зюгановых» задом — все знакомо, ничего нового.

В идеологии-то нового и правда ничего, да вот слово беловское повернулось, встало поперек. Ведь недавно — пробовали читать и рассказы, и «Год великого перелома» — и чувствовали: не писалось — вымучивалось. И не потому тяжело шло, что «много политики». Потому что читатель пропал. И ушло дыхание: писатель — это лишь выдох, читатель — вдох.

Как ни странно, новые «бухтины» заставляют снова взглянуть в истоки «деревенской прозы». Конечно, по духу, по «составу крови», по общей боли — рядом стоят поэты-деревенщики первой половины XX века: Есенин, Клюев, Клычков, Орешин... Был и второй исток — сказ. Не литературный, как у Ремизова или Замятина, не городской-мещанский, как у Зошенко, а народный, устный и полуустный (в прозе Клычкова он же голос подает). Когда-то Вадим Кожинюв, вчитываясь в прозу «деревенщиков», заметил: у них — в отличие от писателей XIX века — диалектизмы легко входят не только в речь их героев, но и в авторскую речь. Еще бы! Они сами вышедшие из этой речи («с диалектом»): сказ был жив, когда они родились.

Оба эти истока питали прозу Белова в равной мере. В «Привычном деле» ощутил песенная (во многом — есенинская) стихия: вывел

сначала что-то веселое, с «переплясом», а потом затянул протяжную, горькую песню. В «Ладе» (и в самом желании запечатлеть по остывающим уже следам народную культуру) — память о есенинских «Ключах Марии», о поздней, «трудной» (как «Погорельщина», как «Песнь о Великой Матери») поэзии Клюева. В «Плотничьих рассказах» проступил «Чертухинский балакирь» — на вологодский лад. В полной мере сказ ожил в «Бухтинах вологодских» — тех еще, прежних.

Запечатлеть живую речь на письме — задача нитруднейшая. Был гений изображения устной речи — Шукшин. Но в «Бухтинах» — не диалог, а монолог. Шукшин писал и монологи, но письменные («Раскас», «Письмо»). Белов же — в «Бухтинах» — не побоялся последовать за Писаховым и Шергиным. Впрочем, вологодские диалекты граничат с поморскими. К вологодчине тоже приложима формула Федора Абрамова: «Русский Север — это народная классика». Кузьма Баракхостов — литературный родич писаховского Сени Малины: наваял такого, что голова кругом пойдет. Впрочем, чуточку он поскромнее: лепит завиральщины одну за другой, но более — о себе, да о жене Виринее.

Странно время все переиначивает. Написать «Привычное дело» сейчас — дело невозможное. Зато «небывальщины» — в самый раз. Сплошная политика — зато без нудного «дребезжания». «Игра ума» не Бог вещь какая? Не хуже, чем у постмодернистов: «Тут забегает в уборную Жириновский... Горбачева как ветром сдуло». Скоморошина — чудная вещь. Она позволяет все: хочешь про Виринее — клеит про Виринее, хочешь про Козырева — давай про Козырева. Да и как очухаться от повсеместного идиотизма. Только наврав всякой всячины: «Наши племянницы пока женскую марку держат, пахнут одеколоном. Но посуда не мыта неделями. По воздуху моль так и шьет. Варенье бродит. Весь пол усыпан бумаж-

ками от конфет. Бумажки шелестят, как под осень листочки с берез и осин».

Бухтины «вологодские завиральные (перестроечные)» — это, конечно, не то, что бухтины «неперестроечные». Но — слово ожило. Герой-завиральщик лепит диковинные сюжеты, начиная с «нового быта и новых нравов» и кончая своими похождениями в Москве, в Госдуме, в США. Тоже своего рода «Куклы». Но не с теми приколами, которые интеллигенту кажутся остроумными («упал — отжался»), а — с простецкими, по-крестьянски: «Не хвастаюсь, а скажу правду: вся верхняя Дума хлопала мне до ревматизма в суставах».

Раньше казалось: Белов злится, кроет матом и чрезмерным своим вниманием к «маленьким людям» в политике придает им лишний вес, большую значительность, даже многозначительность. В «Бухтинах перестроечных» — Петрушка: орет, руками размахивает. Голос писклявый (у кукольника — пищик в горле): «Что большевики, что демократия — одно добро». Скажут: неумно — так с него как с гуся вода, он еще и подначивает, сам на себя импровизирует:

«Ты, — grit, — Баракхостов, как был контро, так и остался контрой! На тебя никакая перестройка не влияет. На тебя одна Вириняя влияет, да и то только когда тебя кормит. Тебя, — grit, — давно пора арестовать да в самое стуженое место выслать!»

Слово Белова ожило. Оно плокотово (слишком очевидны политические намеки, тут бы чуть по-свободнее, без нажиму, без «тыканья пальцем» — поменьше эживиков, побольше дурачества). Но оно — зашевелилось, задвигалось. И главное — герой выручает. Ходульно? Так это Баракхостов мой, все без разбору мелет. Грубовато? Так он же смерд, расшаркиваться не приучен.

И странное дело: тихо сползая на точку зрения героя — сам чувствуешь его крестьянский глаз: а как ему на всю нашу катавасию еще смотреть?